



БИБЛИОТЕКА ВОСПОМИНАНИЙ

Леонид МАРЯГИН

Вот моя деревня

Экран и сцена. — 2000. — 2-й к. (250) —
Отрывок из книги "Иду на Вы" а. 16.

По-моему, Витя Мережко предложил мне сценарий от отчаяния. Семь авторитетных в ту пору режиссеров знакомились с его первым творением, брались ставить по нему картину, и все семь не могли пробить кинематографическое начальство, считавшее сценарий аморальным. Я к тому времени занимался на «Мосфильме» телевизионными фильмами, и, собственно, киноруководству представлялся, как говорят, нулем без палочки. Но решил попробовать довести Витин сценарий до экрана — уж очень знакомым и жгучим показался мне мотив женского одиночества и попытки его превозмочь. Сценарий назывался «Дни», и, кроме названия, ничего невыразительного в нем не было. Наоборот — он искрился находками и характеров, и ситуаций.

Вместо названия «Дни» в титульный лист вынесли фразу, предназначавшуюся в сценарии вокзальному диктору: «Вас ожидает гражданка Никанорова», и я двинулся к давнему другу Марлену Хуциеву, который, мне на счастье, временами замещал снимающих Алова и Наумова. «Худручил», говоря по-просту. Тем временем Мережко обаял редакторов комитета. Хуциев запустил меня в производство и уступил место постоянным худрукам, один из которых, обуреваемый редким приступом нравственности, обрушился на сценарий. Но об этом отдельно.

Мережко и Хуциев, и остальным участникам запуска сценария было невдомек, почему я, горожанин, увлекся этим явно сельским материалом. А причина была, и для меня — веская.

Деревня Федосеевка разметалась по низким берегам степной речки Оскол. Саманные хатки под соломенными кровлями смотрелись белыми звездочками в буйном зеленом ковре яблоневых садов, а выше, на бугре, строго тянулась вверх кирпичная школа — единственное здание под жестяной крышей, — граничащая со старым барским парком, в липах которого поселились сотни грачей, ненавистных селянам за прожорливость на полях при посевной. Грачи будто чувствовали это человеческое отношение и зорко следили за движением людей, там внизу, под деревьями — стоило кому-нибудь чиркнуть спичкой, и несметная стая взлетала в небо, ожидая следующего за вспышкой выстрела. Выстрелов не было — оружие в этом безлесном краю лежало в подпольях и скрынках, оставшихся в изобилии после немецкой оккупации, но извлекалось оно на свет божий только по ночам для разбоя или защиты, что бывало в тех местах.

Вот в этот угол российской провинции и решил забросить меня мой отец, справедливо опасаясь, что тесная дружба со шпаной из восьмой орехово-зуювской казармы может очень плохо кончиться. Другими словами — отправлен я был в деревенскую ссылку. Человека, у которого предстояло снять угол или койку, он выбрал на старооскольском рынке. Приземистый, жилистый, брови домиком, торговал бараниной, просил очень дешево — нечем платить задолженность по налогу, как объяснял он, нужно скоро расторгать тушку.

Когда торговалшийся, переваливаясь, вышел из-за прилавка, чтобы пожать руку отцу, обнаружилось — шкандыбает он на деревянной ноге, а собственная — потерявшая чувствительность после ранения на войне с немцем — торчит согнутой, сзади.

Не миновала мужичка и гражданская война — служил он ординарцем у самого Буденного, и след от белоказачьей шашки бугрился на бурой от загара шее.

Отец решил, что лучшего места пребывания, чем хата дяди Миши — так звали мужичка, — для меня не найти. И деревня Федосеевка, что в семи километрах от Старого Оскола, стала моей летней и многолетней резиденцией.

— Москвич! — так сразу обозвали меня в деревне, никого не интересовало, что мое Орехово-Зуево в сотне километров от Москвы. — Сегодня на улицу пойдешь?

Вопрос удивил — я стоял у деревянного крыльца хаты дяди Миши, а спрашивал мой ровесник по виду, Женя Фаустов — племянник хозяина:

— Я и сейчас на улице.

Женя расхохотался и объяснил, что «улица» — это танцы и в летнее время, и в зимнюю пору на свежем воздухе. Сегодня «улица» должна была образоваться на Алтуховке. Так прозывался порядок хат, сбегав-

ших от школы в ложбину «Левадии» — месту огородов и низкого густого кустарника, служившего прибежищем уединявшимся с подругами парней. Улица происходила на утоптанном — чтоб меньше пыли во время плясок — пятачке земли. Гармонист сидел на подоконнике соседствующей хатки и играл, что душа пожелает — польки, вальсы, кадрили, русского и даже музыку, в которой с трудом узнавались фокстроты. Девчата, разряженные в шелковые блузки самых ярких цветов, танцевали с парнями, щеголявшими лакированными козырьками офицерских фуражек и густо смазанными яловыми сапогами. Многим девчатам парней не доставалось — танцевали дружка с дружкой. Пели частушки. Обязательно «Семеновну». Содержание припевок сохранялось еще с войны, с оккупации:

— Ах, Семеновна

Какая хитрая!

Была за Сталина,

Теперь за Гитлера, — старательно выводила Валька «Курлыкова» — улыбчивая грудастая девица, парень ее по прозвищу «Курлык» служил теперь в армии. Кто-то выкрикивал от имени Сталина, что «вот мы выломаем дрын, и рассыплется Берлин», а ему уже за Гитлера отвечали:

Дорогой товарищ Сталин,

Мы Москву бомбить не станем —

Полетим мы на Урал,

Куда евреев ты убрал!

Несмотря на частушки, антисемитизма в Федосеевке не замечалось — слесарь Шмунд пользовался всеобщим уважением: добросовестно ремонтировал триера, сеялки и веялки. Двор его походил на филиал колхозного машинного двора. Была у Шмунды и вторая специальность — он лихо играл на скрипке и

близованному, и на ухо шептала: «Миш, Миш, пойдем ко мне, а то у меня свербит». И если этот Миша проявлял нерешительность, добавляла: «А то в следующий раз сам попросишь — не дам». Нюрка тоже появлялась на «улице», но не сразу, а в самый разгар, когда собравшиеся, разгоряченные танцами, а иногда и самогоном, уже не сбивались в приятельские кучки.

— Нюрка пришла жертву искать, — пояснили мои новые деревенские друзья. Однажды такой жертвой оказался и я. «Мы с москвичом домой пойдем. Нам — рядом», — сказала она и взяла меня за руку. Я не противился. В кустах «Левадии» она опустилась на траву, не выпуская моей руки, и приговаривая: «Тело на тело — хорошее дело». Выяснилось, что никакого стриптиза ей не надо — стоит только поднять юбку, а видневшиеся из-под юбки трусы — это только «декорация», «нарукавники» на лямках.

Ни о чем другом, как о кратких утехах, «Чапаиха» и помышлять в замкнутом мире деревни не могла. Думаю, поэтому и ограничивалась минутными удовольствиями с наскока, поэтому и прозвали Нюрку в память атакующего героя гражданской войны.

Но бывало, и ревнивое раздражение охватывало «Чапаху». Один из ее коротких знакомых, ходивший с другой девушкой, решил продемонстрировать особенности туалета Нюрки мужикам на колхозном току и получил такую затрепину, что пал лицом ниц в прямом смысле этого слова, а она ушла, выкрикнув:

— У Вальки своей трусы показывай!

Если вечером «улицы» в Федосеевке не было, шли танцевать в Луга, соседнюю, всего шесть километров, деревню. Обрато возвращались туртом, дождавшись всех сво-



обучил игре на разных инструментах — мандолинах, балалайках, сопелках и рожках — свое многочисленное семейство. Образовался оркестр, в который влились и соседские подростки. Это музыкальное сообщество с удовольствием прилащали на свадьбы и праздники даже в соседние села. Шмунд управлялся «гастролировать» с музыкой — ухал большой барабан, повизгивала скрипка, брэнчали струнные, свистели деревяншки — звучал «Тимоныя» с еврейским акцентом. Из хаток выходили мужики и бабы — послушать Шмунду.

Но главной достопримечательностью деревни был не Шмунд и даже не вкуснейшие яблоки большого количества сортов, главной — о ней говорили все, каждый шаг ее отмечался — была Нюрка «Чапахина», ладно сложенная, с раздувающимися чувственными ноздрями, в туго затягивающей голову бордовой косынке. В шестнадцать лет ее угнали на работу в Германию. Проработала она на неметчине недолго — забеременела, и ее вернули. Двойня родилась и померла. Родители Нюрки уже ушли из жизни, существовала она с бабкой под одной крышей, справно трудилась на колхоз на скотном дворе, отмечалась даже грамотами в праздники урожая. При этом была ненасытна в любви или, как сейчас бы сказали, остро сексуальна и решала свои половые проблемы просто: подходила к парню, застоявшемуся без общения с противоположным полом, демо-

Тетя Фекола была полной противоположностью своему мужу. Таких, как она, называют людьми антиобщественными. Но и в Феколе пассивность в критическую минуту побеждал крестьянский инстинкт.

Хата наша находилась у выгона, за выгоном — ток, на нем гурты зерна. Девчата спуют на току, укрывая соломой зерно — надвигается черная гроза. Тетя Фекола на крыльце, под его козырьком. Пролились первые капли дождя, прибив пыль. Кряхтя, Фекола поднялась со словами:

— Пойду помогу, хлеб мокнет!

И шагнула под дождь.

В войну, когда дядя Миша был на фронте, тете Феколе на постоянной основе определили немецкого солдата, какого-то чина. Тот с удовольствием играл с сыном хозяев и помогал даже поправить крышу хаты. Услышав слово «Гитлер», отрицательно мотал головой. Война окружала деревню — пахотные поля были разминированы, а до травянистых полейнок у реки, которые обкашивали крестьяне, — восемь копешек в колхоз, две для себя — миноискатели и саперы не дошли. Я, помогая дяде Мише в покосе, постоянно слышал его предупреждения: «Поберегись!» Неразорвавшиеся снаряды, изрядно поржавевшие, лежали под ногами, прямо у косы-ли-товки.

Дядя Миша был бескорыстным членом партии — еще с гражданской войны. Честный и безответный, он исполнял любые поручения. Его и собирать молоко с сельчан в счет налога поставили, поскольку — не воровал. Единственная льгота, которую я мог наблюдать у дяди Миши, — кусок говядины килограмма в три. Образовалась она после короткого стука в ночное окно хаты. Хозяин уже спал, проснулся, допрыгал до окна на своей здоровой ноге, послушал, прикинул ухом к стеклу, что шепчут с той стороны окна, с улицы и, пристегнув деревяншку, ушел. Вернулся с рассветом, держа в руках кус мяса в газете.

— Бычка забили. Вот Кундюша (так прозывали председателя) и собрал актив. Выпили. Закусили. Каждому с собой дали, — он протянул мясо тете Феколе.

— А побольше не могли? — спросила та и отвернулась спиной к стене в обтертой по-белке.

Любовью и гордостью хозяев был их сын, окончивший геологоразведческий техникум, женившийся на первой деревенской красавице и отбывший куда-то в Сибирь. Красный угол хаты украшала большая рамка, за стеклом которой были подобраны фотографии сына Виктора разных возрастов — от младенческого до взрослого. «От то он в техникуме», — поясняла тетя Фекола. — «А то — в пятом классе», — добавлял дядя Миша и касался заскорузлым пальцем шорника, пахнущим воском и дегтем, чисто протертого стекла. Супружеская чета почти еженедельно посылала сыну посылки с гусями, утками, салом и переживала — не испортятся ли продукты в дороге. Праздником были короткие весточки от сына: «Все получили, спасибо!» Дядя Миша вынимал из подпола бутылку первача, тетя Фекола пекла хлеб на поду русской печи. Делалось это только в особо торжественных случаях — зерна на трудодень давали по двести граммов — урожайность в колхозе была всего семь центнеров с гектара.

Тепло этой гостеприимной хаты согревало много лет мои воспоминания и, получив сценарий «Гражданки Никаноровой», я решил снимать его в далекой и родной Федосеевке.

Поезд принес нас в Старый Оскол, газиком-вездеходом мы двинулись в деревню, но ее уже не было — город наступил, и вместо памятных поэтических хаток мы увидели плотно застроенный пригород. Все-таки хата дяди Миши отыскалась — она стояла одиноко, без крыльца, с потемневшей крышей, в охре оплывающей глины, давно не беленая. Новые соседи из-за высокого забора сообщали, что дядя Миша помер в деревне, а немощную тетю Феколу сдали в богадельню; мол, как ни вызывали любимого сына к матери, — он не объявился. Я понял, что в этом месте смогу снять только трагедию, а хотелось — трагикомедию. И мы устремились искать натуру для съемок в другие места. И нашли.

● Тетя Фекола и дядя Миша